

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Крылов К.А.*

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Артур Данто. Аналитическая философия истории / Пер. с англ. А.Л.Никифорова, О.В.Гавришиной. - М.: Идея-Пресс, 2002. – 290 с.

1965. В этом году University Press выпускает «Analytical Philosophy of History» by Arthur C. Danto. 2002. Издательство «Идея-Пресс» издает перевод вышеупомянутой книги: «Аналитическая философия истории» Артура Данто. За сорок без малого лет с книгой случилось как раз то самое, чему посвящена изрядная её часть: она стала историческим фактом. Если точнее – фактом истории одной из ветвей американской аналитической философии. Стоит ли интересоваться тем, что висит на этой ветке, если само древо ныне зеленеет не столь уж пышно? Да. Теперь мы можем оценить *значение* этого факта. Плод должен созреть. Значение факта открывается после того, как он ушёл в прошлое весь целиком, но ещё не успел забыться: сова Минервы вылетает в сумерки.

Содержание книги (если интересоваться только её содержанием) довольно-таки тривиально. Первые главы посвящены определению понятий, связанных с историческим знанием, середина – критике возражений против его возможности, конец – роли нарратива в историческом объяснении.

Начнём поэтому именно с истории вопроса. Прилагательное «аналитический» используется – не как случайное слово, а как часть самоназвания – в двух великих интеллектуальных течениях прошлого века (который, впрочем, для большинства наших современников ещё не кончился) – в психоанализе и аналитической философии. Предметом непосредственного интереса психоанализа является *речь* – прежде всего речь пациента. Аналитическая философия занималась *языком*, прежде всего языком науки (напомним: энтелехией европейского «практического знания» была медицина¹). Речь и язык, понятия таким образом, связаны, понятное дело, не вполне сосюровским отношением *власти*. Образцом всех и всяческих «законов божеских и человеческих» являются законы языка, грамматика. Однако, речь ускользает от власти языка и «что-то такое себе крутит».

Психоанализ изучает отклонения от «правильной речи» - ошибки, оговорки, грамматические нелепицы, понимая всякую оговорку как проговорку и невольное признание. Аналитическая философия берёт выше: её интерес – не ошибки (или преступления) подданного, а грехи законодателя, то есть имплицитные слабости и дефекты самих языковых правил. Интересно, что обычно аналитические философы настаивали на ужесточении законодательства: если психоанализ искал смысл (пусть даже предосудительный) в любом лепетании, и подстрекал к нему, то гордое аналитическое «это предложение не имеет смысла» имело в виду «об этом следует молчать». Психоанализ пытался *прокинуться* в то, от чего философия языка с отвращением *откидывалась*.

Да, ведь мы говорим об истории. Для Фрейда история – это всегда история болезни (человека, культуры, или человечества в целом). Болезнь понимается классически – то, что болит, что «беспокоит», как выражаются доктора в районных поликлиниках. Когда

* Крылов Константин Анатольевич, политолог, публицист, зав. Отделом политики газеты «Консерватор».

© Центр фундаментальной социологии, 2002 г.

© Крылов К., 2002 г.

¹ Во всём объёме этого понятия, включая и исцеление, и палаческое искусство: Бэкон говорил о «истязании природы», у которой следует «вырвать» её тайны.

«беспокоить» перестает, мы говорим, что оно *прошло*. «Прошное», таким образом – это то, что вроде должно уже пройти, но вот никак не проходит, мучает, *воспроизводит себя как невроз*. Лечение: перестать беспокоиться и начать жить² – и «времени больше не будет».

Аналитическая философия аккуратно воспроизводит тот же самый диагноз, указывая на непростительный промах языка, допускающего формы времени глагола «быть». Любое высказывание должно иметь значение истинности, то есть быть либо истинным, либо ложным. Но истина (и по Аристотелю, и по Тарскому, и по кому угодно ещё, если слушать людей серьёзных и не склонных к поэзии) – это когда говорят «есть» о том, что есть, и «не есть» о том, чего нету. Но что делать с сомнительным «было»? Во всяком случае, оно не «есть» – ибо оно «прошло». Тогда высказывания о нём не могут быть ни истинными, ни ложными. Что *absurdum est*, и сие вполне очевидно.

На это аналитические философы (например, Льюис) отвечали так. Сами по себе высказывания о прошлом бессмысленны. Зато вполне осмысленны высказывания о том, что *осталось* от прошлого в настоящем. Осталось довольно много: следы, черепки, летописи, воспоминания. О них-то мы и говорим, когда рассуждаем о прошедшем.

Данто, однако, задаётся вопросом: а откуда мы, собственно, знаем, что данные «факты настоящего» на самом деле являются «следами» каких-то других фактов? Почему, собственно, черепок для нас – это именно *черепок* (некогда разбитого горшка), а не просто «кусочек глины неправильной формы»? Почему мы признаём некоторые предметы «следами», «обломками», «обозначениями» чего-то, чем они не являются?

Собственно, к этому же сводится вся проблематика знака. «Символ», по изначальному греческому значению этого слова – это именно что обломок, черепок, который можно приложить к другому черепку – например, для того, чтобы убедиться в том, что это «тот самый», дополняющий его черепок. Но даже если этого второго черепка нет, по виду первого мы можем догадаться, что чего-то недостаёт³. А догадаться мы можем, если имеем в уме идею того целого, частью которого является предьявленный нами обломок... хоп, мы уже прочно завязли в платонизме, конкретно – в «Пармениде» (131 а-е, где обсуждается делимость идей).

Но платонизм для аналитической философии неприемлем. Поэтому Данто в поисках критерия различия «настоящих вещей, которые просто есть», и «следов и отпечатков прошлого», которого в полноценном виде уже не существует, обращается к ехидному эмпирику Юму, разбудившего, как мы помним, Канта от догматического сна. Тема сна для Юма, кстати, очень важна, потому что юмовский критерий отличия настоящего от следов прошлого (то есть «ощущений» от «воспоминаний» и «фантазий») состоит в том, что «настоящие ощущения» ярче и отчётливее и того, и другого.

Казалось бы, ничего нового и удивительного. Тем не менее, именно в этой точке происходит важнейший поворот мысли (в который изложение Данто вписывается, не замечая этого). Главный признак «настоящего времени» – яркость. Мы судим о нашем настоящем, потому что у нас есть идеальное представление о настоящем: настоящее – блестящее, самозабвенно захватывающее нас. Настоящее – это то, что переживается сильнейшим образом, это *ярчайшее впечатление*.

В таком случае, мы воспринимаем прошлое как причину отклонения настоящего от своего идеального образа. Мир должен выглядеть так, как будто он создан минуту назад (Данто уделяет этой возможности немало места в своих рассуждениях). «Знаки прошлого»

² Это, собственно, содержание ницшевского «О пользе и вреде истории для жизни» - сочинения, которое наш автор, несомненно, изучал весьма внимательно: Данто – автор книги «Ницше как философ» (перевод - Идея-Пресс, 2001).

³ Такую же природу имеет любая «символическая система», в частности – естественный язык. Язык – это горсть обломков, черепков, система подвижных руин. В этом смысле выражение «язык руин» - тавтология: только руины и следы и могут что-то «значить» – именно потому, что они перестали «быть» тем, что они теперь «означают». Впрочем, «настоящие» знаки никогда не были тем, что они значат – они *рождены мёртвыми*, и существуют как «следы и образы прошлого», которого они никогда не имели.

на фоне этой яркости и света выглядят как потёртости, выщерблены, царапины – то есть всё то, что портит и умаляет этот свет настоящего. Настоящее же – именно что *настоящее*, то есть неподдельное, полновесное, не потёртое.

И тогда критерий различения «есть» от «было» – *эстетический*. Прошлое определяется как серость и скука. Таким образом, учение о времени сводится к эстетике восприятия: прошлое – тускло, серо, настоящее – ярко и увлекательно. Более того, всё скучное и серое и есть прошлое.

Что из этого следует? Очень многое. Например, то, что, номинально пребывая в настоящем времени, можно при этом находиться в прошлом. Например, «тоталитарный строй» (какой-нибудь «унылый совок») – это попросту говоря, *вчерашний день*, к которому прикованы несчастные жертвы какого-то недопрошедшего события, невротически повторяющегося (в случае с «совком» это «великий Октябрь», отмечаемый в ноябре)⁴. В «символическом прошлом» находятся также и «отстающие общества» – а также и «низшие классы» обществ прогрессивных. В точке абсолютного настоящего (где всё ярко, празднично, и по-настоящему) места очень мало, а людей на свете много⁵, так что «массу» приходится сбрасывать во «вчера», где ей и место. Единственный шанс для масс выбраться на сцену, к *месту действия* – это какая-нибудь катастрофа, война или революция, когда время «вывихивает сустав».

В таком случае, что есть история? Некое целое, объемлющее прошлое и настоящее, несмотря на их антагонизм. Данто замечает: если прошлое недоступно, у нас нет никаких свидетельств об истории, *кроме самой истории*. История как целое доступна нам, ибо она продолжается и сейчас. Кстати: если она вдруг и в самом деле кончится, она станет для нас недоступной, точнее – неинтересной. Прошлое окончательно перейдёт в разряд дефектов и изъянов (или, как говорили в советское время, *родимых пятен*), которые уже ни о чём нам не говорят, а только мешают жить (Ницше здесь неожиданно смыкается с Фукуямой: история кончена, пора её *забыть*).

Но в 1965 году история ещё была, и связывала прошлое (представленное в виде царапин на свежесмытом «сейчас») и это самое «сейчас» – через «исторически значимые» события. Некоторые царапины болят и ноют «по погоде»: меняется давление, и старые раны начинают саднить. Историк обращает внимание не на все события прошлого, а только на те, которые имеют значение здесь и сейчас. Точнее, *приобрели* значение – сейчас. Повитуха, принимавшая роды у мадам Дидро, не могла знать, что родился автор «Племянника Рамо». Более того, когда Дидро писал первые строчки «Племянника», никто не знал (в том числе и автор), что его книга переживёт своё время и войдёт в корпус французской классики. Мы интересуемся в прошлом лишь тем, что не померкло – а точнее, *встухнуло* здесь и сейчас, с небывалой яркостью. То есть интересуемся тем, что для нашего настоящего *стало* существенным, стало «значить».

Именно поэтому история предстаёт перед нами как собрание «отклонений» и «уникальностей», паноптикум, кунсткамера. Обычное – это неяркое, стёртое, то есть «прошедшее», заведомо прошедшее, даже если оно длится и посейчас. Отрицается как раз неправдоподобное, удивительное. Настоящее же и должно быть удивительным, ярчайшим

⁴ Кстати сказать, «тоталитарность» есть просто следствие нахождения в прошлом. Прошлое, как известно, неизменно. Тот, кто живёт в прошлом, «ничего не может изменить», и переживает это как скованность и связанность по рукам и ногам. «Ничего нельзя сделать».

⁵ Тут имеет смысл вспомнить чаадаевскую теорию времени, имплицитно присутствующую в «Философических письмах». Россия находится не просто «вне истории», а вне «течения времён», то есть её попросту нет и не было (в дальнейшем автор «Апологии сумасшедшего» понял это «не было» как «ещё не было»). Впрочем, и большая часть видимо сущего – не есть. Подлинно существует только точка абсолютного настоящего – Римский Папа, уделяющий от своего бытия Вселенской Церкви, и через неё – Европе как *дню мира*. Остальной же мир всего лишь «был»; Индия или Китай – всего лишь «живые пирамиды», *знаки* давно прошедшего, изучать их – дело историков и археологов. Надо сказать, что Чаадаев здесь гениально угадал магистральную линию позднейшего «востоковедения» и ещё более поздней «антропологии» – эти науки изучают вполне настоящих «туземцев и дикарей» именно как *живое прошлое*.

(С.104). История дополняет наше тусклое настоящее до полноты той яркости, которую оно должно было бы иметь, если было бы вполне настоящим.

Усилие, придающее знаку смысл – это использование знака для воскрешения галлюцинаторного чувства реальности прошлого, его «яркости». Марсель Пруст ощущает размоченный в чае вкус пирожного, и вспоминает «с навязчивой яркостью» своё детство – причём вспоминает именно потому, что пытается понять, что *означает* этот вкус (С.94 и сл.). «Означать» – это, собственно, «помочь пережить заново», с полнотой ощущений.

Напоследок – риторический, казалось бы, вопрос. Что нас возбуждает в прошлом, что нас касается в нём? Данто не говорит, но не может забыть о любимом им (хотя и странную любовь) Ницше, который недвусмысленно утверждал, что чувство причинности порождается в нас желанием *мести*. Простейшая *история*, в которую мы можем *попасть* (учитывая бытовое значение выражения «попасть в историю») – это месть. Начиная от мелкой пакости («соседи достали, надо что-то делать»), и кончая классической вендеттой.

Историю делают люди, одержимые идеей причинности. История – это то, ради чего мы готовы убивать друг друга *сейчас*.